

Борис Зайцев

Люди Божии

1. Домашний лар

Он родился в усадьбе, зимой, третьим сыном черной кухарки. Мать была ему не очень рада и не очень не рада. Как и все в деревне, должен был он произрастать естественно, а там -- что Бог пошлет. Он и произрастал. Сколько нужно -- кричал; сколько нужно -- сосал; и думалось, во всем пойдет по стопам братьев -- бойких и живых ребят.

Но на третьем году выяснилось, что он не ходит; минуло четыре, пять, он не говорил, лишь начал ползать, выгибая дугой ноги... Глаз его смотрел вбок -- не плохой, карий глаз, но выдавал вырождение. Мать тужила. Было жаль, что из него не выйдет работника, как из Сережи или Алексея, но, по русско-бабьей склонности, любила она его больше, чем других, жалела. Старшие росли быстро. Они вели жизнь деревенских ребят, зимой гоняли на салазках, летом ловили в речке раков, мучили птиц, кошек. Младший же сидел на печке, сиднем, как Илья Муромец. Он почти не рос. Время несло над ним незаметно. Весь его мир -- печка, мамка, да несколько звуков, неизвестно что значивших. Но это же время, сделавшее братьев крепкими мальчуганами, вывело и его на улицу. Сначала робко, боясь упасть, ковылял он в братниных валенках; потом окреп, стал ходить, даже бегать. Гимназический картуз явился на голове, взор повеселел; к семи годам с победным криком мог он носиться по усадьбе, волоча рогожу, дохлую ворону -- босой, в коротких штанишках, рваной кацавейке; она пестрела красными дырами.

К нему привыкли, даже полюбили. Нравом он смирен, оживлен, хотя обидчив. Иногда мать подшлепнет его, он рыдает; но тогда белая кухарка даст ситного -- горе забыто. Он бегаёт целый день, летом. На всех путях в усадьбе можно его встретить. Он говорит мужчинам "папа", снимает картуз; женщины все "мама". У него есть свой язык, полуптичий, полужвериный; верно, самые первые люди на земле так говорили. Когда слов не хватает -- изобразит жестом, действием: присядет, пробежит, помычит по-коровьи или побрешет. Замечательно умеет куковать. Лучше всех понимают его дети. Он рыцарь барской девочки. Ей четыре года, ему восемь. Ростом они одинаковы; говорит она бойко, о чем угодно; он -- лишь с ней. Она понимает такие фразы:

Он (указывая на отца): "Бахи -- махи, лу (подымается на цыпочках, к небу), э-э".

Значит: "Пусть папа влезет на дерево, пилить ветки". Он ее неизменный спутник, кавалер, телохранитель; он рвет ей цветы, собирает грибы; когда нужно, целомудренно отвертывается, весело и покорно возит ее в колясочке, работы деда; отгоняет гусей, зовет маму, все свершает ясно и толково, что она ни скажет. И одна у него скромная дневная радость: когда на балконе пьют чай, он является, снимает гимназический картуз и тихо говорит: "Хай". Ему дают большую чашку жиденького чая; он прилаживается на лестнице; голова его коротко острижена, легкими вавилонами; в руке он держит блюдце, дуст, закусывает кусочком сахара, и блаженство можно прочесть на его лице. Выпив, подает чашку снова; ему опять наливают, как прочно заведено, -- точно маленькому домашнему божку, нехитрому лару древних. Он выпивает четыре, пять чашек и, когда больше не хочет, положит чашку набок, как принято в людской. Он уйдет. Но куда бы ни выйти, всюду его встретишь; как настоящий обладатель усадьбы, он кружит по ней, иногда дразнит индюков или вытаскивает гвозди; и будто бы он ничего не делает, но он живет, он часть общей жизни; он скажет вам что-нибудь на своем языке, засмеется и убежит, повинувшись собственным настроениям. Он веселится, если сказать ему на его же наречии: "бахи-баха", -- слова неизвестные, загадочные.

И иногда, в дни тяжкие, когда все взрослые, да и весь, кажется, мир подавлен, -- бывает радостно видеть, как маленький человек беззаботен и счастлив куском пирога, булкой, конфеткой; легче сердцу, когда видишь, как ведет он домой девочку, как хохочет, везя ее в коляске. И верно, правы были древние, обожествившие мелкие существа домашней жизни, далекой от ужаса мирового; смутно чувствуем это мы всегда; потому и не жаль лишнего пряника -- как не жалели его две тысячи лет назад.

Что ждет его впереди? Будет ли он деревенским дурачком, юродивым, усердным молещиком в церкви, раньше всех являющимся? Или просто пахарем родных нив? Может быть -- пильщиком, плотником в артели, работающим и толковым, но -- немым, посмешищем девок, неудачником в романах?

Время, медленно ведущее его, покажет. А пока -- он наш маленький домашний лар, покровитель и охранитель мирной жизни. Как вчера -- нынче явится он за возлиянием, и завтра. Нынче, завтра и послезавтра -- его получит.

2. Республиканец Кимка

I

Не надо думать, что его имя -- Аким. Он в действительности Федор Акимыч. Фамилии же, верно, сам не знает. Для простоты зовут его -- Кимыч. Еще короче -- Кимка.

II

Он ходит в чужой огромной каскетке, в чем-то пальто, подпоясавшись ремешком. На кривых ногах рваные сапоги. Лицом похож на первобытного истукана, с едва намеченными глазами. Борода его густа и спутана. Из нее торчат соломинки, мякина; на ушах же, беспощадно оттопыренных каскеткой, ссохлась корка грязи.

Некогда был он молод.

III

Когда мы ехали с ним со станции, в телеге, по выбоинам осенней дороги, я сказал:

-- Ким, ты знаешь, ведь у нас теперь республика. Он дернул вожжами и обернулся, ухмыляясь.

-- Республика!

Я объяснил, что это значит.

-- Ким, -- прибавил я, -- пойми, ты ведь теперь республиканец.

Он захохотал. Слово ему понравилось.

-- Гы-гы-гы... Республиканец! Скажешь тоже! Уж ты скажешь! Республиканец. Гы-гы-гы...

Телегу трясло. На одной ямке я вывалился, потом опять сел. Так совершали мы скромный путь. Безмерные поля были вокруг, попадались лесочки, запущенные, как Кимкина борода, разлаты деревни, телята, ребятишки, мужики. Издревле прелестный воздух осени. Древнеродная Россия.

Здравствуйте, Кимки! Здравствуйте, граждане-республиканцы! Сколько вас?

Кимка курит едкую цыгарку. Иногда улыбается. Верно, вспоминает смешное слово.

IV

Он работник в имении. Его дело нехитрое: привезти воды в бочке, покормить лошадей, напоить их. Съездить за керосином. Пропахать картошку, выбросить из парника навоз. Все это делает он медленно, как настоящий русский. Почешется, покурит, просто поглазет по сторонам. Австриец Иохим, работающий с ним вместе, длинноногий и длиннорукий, похожий на игрушечного паяца, презирает Кимаша.

-- Кимаш ist durnm [*глупый (нем.)*], -- говорит он. -- Не умеет работать. Только ругается. Er sagt immer [*Он говорит всегда... (нем.)*], твою мать, твою мать.

Кимка, действительно, сквернослов. Речь обычная ему не дается. Трудно этим тяжелым мозгам, нескладному языку произнести что-нибудь связное. Слова вылетают отдельные, хрипло, грубо.

-- Напоить... лошадь-то напоить... Ишь чего... Я сам знаю, что напоить.

Но ругается он хорошо. Это удобно тем, что к каждому слову можно прибавить знаменитое упоминание о матери, троицу, на которой стоит русская земля. И будет отлично.

Дни Кима проходят в курении, вялой работе, еде, брани. Он с чужой стороны. У него нет здесь близких, да и вообще, кажется, их нет. В том же однообразии, как у Любезного, которого не всегда он поит, или Аспазии, чьих щенят равнодушно закидывает, проходят его годы.

V

Он сварлив, раздражителен. С ним трудно. Из-за пустяков он вспыхивает, краснеет и дико ругается. Иногда же бранится механически, по давней привычке: Во хмелю страшен и жалок. Думаю, что он, опившись спиртом, может кончить дни под забором.

Вне этих дел он угрюм, равнодушен. Хочется верить, что по природе он не зол.

VI

Если сказать: "душа Кимки", многие, знающие его, улыбнутся.

-- Какая же у Кимки душа? Тогда и у Трезора душа, и у серого придорожного валуна?

Все-таки это неверно.

У него есть улыбка, а следовательно, и душа.

Иногда маленькая барская девочка, встречая его, говорит:

-- Кимка, у тебя на ногах мох!

Он опускает голову и смотрит.

-- Не кланяйся, ведь я не Бог!

И тогда он смеется.

-- Ишь ты... все шутишь... ишь ты, шутница...

Лицо его расплывается, -- доброе, человеческое в нем видно. Да, и он тоже ведь был ребенком, может быть, даже милым! А теперь мы радуемся, что в нашей республике вырос республиканец, умеющий хоть ответить улыбкой на шутку ребенка.

Как ни удивительно, он умеет читать. Зимними вечерами читает кухарке вслух непонятные книги. Есть известие, что так прочел он Герберта Спенсера, доставшегося на сигарки. Потом его выкурил.

VII

Некогда он был женат. На вопрос о жене отвечает неохотно.

-- Ну, был и был... женился. Ну, ушла жена-то, чего спрашиваешь? А то, жена... жена... Сбегл! Вот тебе и жена.

Есть еще более удивительный слух, что уже теперь, в преклонных годах, у него был роман с девушкой. Но и она "сбегла".

VIII

Если не верить в Бога, то надо признать, что все его существо, вся тусклая и смутная жизнь, похожая на прозябание животных, развеивается бесследным облаком. Жил он или не жил, нельзя будет даже сказать.

Если же верить, то, быть может, пред Его судом гражданин Кимка окажется лучше, чем пред нашим. Быть может, за то, что ему дан скудный ум, жалкая внешность, дикая речь; за то, что столь мало света видел он в жизни; за то, что его не любили и смеялись над ним, -- ему будут прощены ругательства. И если верно, что последние да будут первыми, то Кимка, имя коему -- тысячи, не ведающий о себе республиканец, будет и вправду допущен в ограду и сделан гражданином иной, не нашей республики.

3. Сережа

I

Василиса Петровна вздохнула и вытащила из комода, на котором в рамке из ракушек стояла фотография и лежало несколько бумажных роз, -- кусочек мыла, синевато-мраморного цвета.

-- И уж так нечист, так нечист, что просто душенька моя не глядела бы.

Василиса Петровна, немолодая, мучительно-хозяйственная женщина, жена богатого хуторянина, жившего на семидесяти десятинах помещиком, была жалостлива и вообще склонна к слезам. Горько могла рыдать о пропавшей индюшке, о неудавшемся пироге. Десятки маленьких огорчений терзали ее. Ее лицо, некогда красивое, выражало теперь сплошной вздох. Глаза как будто бы всегда заплаканы.

-- И по-одумать, -- говорила она, напирая на о, по-ярославски, -- по-одумать, где мыться-то выдумал, на галдарейке. Мне, го-оворит, здесь свету больше и вид хо-ороший! О, Господи Батюшка, Царица Небесная!

Она вышла на стеклянную галерейку дома, залитую весенним светом. Посреди стояла лохань, рядом два ведра с холодной и горячей водой. Легкий пар шел от кипятка.

Человек неопределенных лет, в небольшом капоре, кацавейке, женской юбке и мужских сапогах стоял около ведер, пробуя воду пальцем. Маленькие его глаза оживленно бегали; по небритым щекам росла желтоватая щетинка.

-- Вот и благодарен, очень вам благодарен, Василиса Петровна, -- говорил он быстро и вежливо, -- я теперь отлично вымоюсь, а то меня очень вошки заели, так кусаются... Тут очень светло, и вид хороший со второго этажа, сад, зелены, лесочек... совсем по-благородному.

Сережа снял кацавейку и почесался.

-- Довершите вашу любезность, -- сказал он, -- когда я буду мыться, потрите мне спинку. А то, знаете ли, трудно самому, очень трудно.

-- Ну и скажешь, правда, ну и такое скажешь... -- Василиса Петровна опять расстроилась. -- Как же я тебе спину буду тереть, когда я женщина, не какая-нибудь... Мне ведь неудобно, ты мужчина.

-- Что вы, что вы, я бы никогда не осмелился... Но чего же меня стесняться? Я сам женщина... вы же знаете.

-- О-ох, блаженный ты, блаженный... На вот тебе мыла, пришлю мальчишку, он тебе поможет.

Сережа засмеялся мелким смешком и по-женски закрыл руками грудь.

-- Только маленького, а то взрослого я постыжусь, они нас обидеть могут...

Василиса Петровна вздохнула и ушла.

Сережа снял рубашку, юбки, попробовал обмыться холодной водой, но показалось неприятно. Горячая слишком была горяча. Много времени он потратил, чтобы сообразить, что воду надо смешать. Что-то напевал, мурлыкал, подходил к стеклянной стенке и глядел, как работник вез в колымажке навоз под яблони. Наконец, с блаженным видом стал оттирать мылом свое тело -- худенькое, желтое, со следами многих укусов. Когда через несколько времени к нему вошел рыжий мальчик лет десяти, с бойкой рожницей, -- Сережа, тощий, с подведенными ребрами, как Иоанн Креститель, стоял в лохани, по колена в воде, и радостно улыбался. Он забыл лишь снять сапоги -- так в них и мылся. Мальчик взглянул на него, прыснул, но все же помог.

Через четверть часа Сережа оделся -- ему дали чистую рубашку; причесался, надел капот и пришел благодарить Василису Петровну. Увидев на комодке бумажные розы, он спросил, нельзя ли взять одну, на память.

-- Моя покойная сестрица очень розы любила, -- говорил он, прикладывая цветок к капору и глядясь в зеркало. -- Как вы думаете, Василиса Петровна, мне желтая больше подойдет или красная?

-- Да уж бери, бери, что там разговаривать.

Василиса Петровна вздохнула. Она вспомнила, что скоро будут делить у них скот и инвентарь. На глазах ее выступили слезы.

-- Прощайте, -- сказал Сережа. -- Еще благодарю вас, Василиса Петровна. А теперь возьму палочку... мне идти надобно -- некогда, некогда-с, Василиса Петровна.

-- Да какие у тебя дела-то?

Василиса Петровна была права. Сравнительно с ней, чей день полон был заботами о скоте, индюшках, курах, пирогах, -- Сережа мог считаться совершенно праздным.

Он спустился вниз. Собаки залаяли. Но он их не боялся. Да и они не отнеслись к нему всерьез. И он двинулся по деревне, мимо пруда.

II

Был апрель, время ранней весны, когда едва поля обсохли, снег в оврагах не дотаял, пригреваются взгорья, затянутые сероватой пленкой. Появилась крапива да тонкие, изумрудные иглы гусиной травки. По дорогам пустынно; если крестьянин встретится, -- чаще верхом, на нечищенной, патлатой и голодной лошаденке. Но уж тепло; нежно голубеет небо, бледно-размыты зеленоватые зелена. И еще несколько дней, скот, пасущийся по парам, станет кой-что доставать.

Церковь в селе Никонове, куда брел Сережа, стояла в стороне, за барским садом. За церковной оградой, с плитами памятников, начинался осинник, сейчас еще голый, серо-зеленоватый; там влажно, кой-где лютик желтеет, да белеет снег. На паперти ярко-красной церкви с зеленым верхом стояли бабы, девушки, несколько стариков. Человек с прямым пробором, примасленными, блестящими волосами -- не вымерший еще русский тип -- отворял ворота в ограду, всматривался в дорогу между садами, хлопотал -- видимо, принимал близкое участие. На колокольне перезванивали. Могильщики, здоровые парни в солдатских гимнастерках, с завитыми челками, кончали могилу. Желтая земля ярко выступала на снегу.

Сережа пробрался к бабам, тоже смотрел, улыбался, иногда бормотал про себя.

Высокий помещик, с седыми усами и огромными руками, в поддевке, сказал полковнику, указывая на него:

-- А ведь богатейший был человек!

Полковник, бритый, с небольшим бобриком, ястребиным носом, несмотря на изгнание, походил еще на множество полковников.

-- Помешанный? -- спросил он рассеянно.

-- В этом роде. У него, изволите ли видеть, сестра некогда была... Ну-те-с... Эта сестра умерла. И он, представьте себе, вообразил, что душа сестры в него переселилась и что он женщина... Обратите внимание, у него и роза прикреплена... вон как... одним словом, несчастное существо...

-- Это бывает, -- сказал устало полковник. -- У меня в четвертой роте рядовой себя корпусным командиром объявил. Пришлось удалить.

-- Но заметьте, что вот он явился же на похороны. Надо вам доложить, что покойный Андрей Михайлович, как секретарь дворянской опеки, из дворянских сумм нанимал ему комнатку, этакое, знаете ли, пристанище... Одним словом, не забыл последний долг отдать.

Полковник поморщился.

-- Ну, вряд ли понимает... Посмотрите, чем занялся.

Сережа, под шепот и смешки молодых баб, подошел к кусту акаций, снял кацавейку, стал ее вытряхивать. На солнце блеснула золотая серьга в ухе.

-- Так, так, хорошенько тряхани, -- посмеивались бабы.

Старшие их остановили:

-- Чего ржете? Над ним плакать, а не смеяться в пору.

Вдали показался священник в белой ризе, за ним гроб.

Помещик и полковник вздохнули, вышли из ворот ограды, навстречу. В простом сосновом гробу, поколыхиваясь на белых полотенцах, приближался прах Андрея Михайловича, которого знал весь уезд, который некогда был местным львом, земцем, представителем древнего, но небогатого рода, другом Сережи -- и скончал дни свои на небольшом хуторке в трех верстах.

Сереза встретил гроб, за которым шли заплаканные дамы, как и вес, -- крестился, но его желтоватые глазки бегали с такой же быстротой, доверчивостью, как на галерейке Василисы Петровны. Вместе со всеми он прошел в церковь.

Обедня шла довольно долго. Церковь вся была полна голубоватым весенним светом. Золотистые его ковры ложились на амвон, на старинный иконостас, разделанный под малахит, с барочными волютами вверху и итальянской, полукруглой нишей, как бы для статуи. Туда лицом был обращен покойник. Венчик со словами: "Святой Боже, Святой Крепкий" опоясывал лоб. Потемневшее лицо с темными усами выражало то непередаваемое и нечеловеческое, что нередко бывает у мертвых. Служил священник со лбом Сократа и кудрявым обрамлением лысины. Хор сбивался. К причастию бабы вынесли плачущих детей. Молодой человек независимого вида, за псаломщика, помогавший священнику, вытиравший ребячьи ротки, по окончании обряда снисходительно улыбнулся на клирос: там стояли такие же передовые юноши с начесами. Его улыбка говорила: "Я работаю, но, разумеется, ведь это предрассудок". Человек с намасленным пробором посредине головы, в поддевке, с бескровными губами, как и много лет назад, обходил с тарелкой и кружкой.

Сереза стоял на клиросе. Иногда он подпевал, случалось -- даже в тон, иногда фальшивя. То рассматривал близких покойного и родных, толпившихся у гроба, то отворачивался, чесался и вертелся. К словам "придите с последним целованием" он остался безучастен. И когда рыдания раздались, с удивлением повернул голову; потом принялся ловить муху, бившуюся о стекло, на солнце.

В дверях лезли любопытные, даже хихикали, рассматривая, как кто прощается. Потом растворилась боковая дверь. На верхнем каменном крыльце пригревало. Из расщелин плит, под апрельским солнцем, пробивалась травка. Поблескивала кафельница; ладан ярче синел. Бывший лев, земец и дворянин приближался к месту упокоения. Застучал молоток. Полетели вниз пригоршни глины, рыжей и вязкой. Девки висли на ограде, чтобы не пропустить чего.

Серезный, немолодой мужик, глядя на засыпаемую могилу, сказал родственнику умершего:

-- Мы-то его теперь не дождемся. А он нас встретит. Потом помолчал и прибавил:

-- Умаялся, сердешный.

Сереза подошел к дамам, улыбнулся и вежливо попросил милостыню. Ему подали.

И пока долго и тщательно засыпалась могила, оставшиеся вели свои скромные земные дела: неизвестно было, кому отдать белые полотенца -- в церковь или могильщикам; кому ехать и кому не ехать на поминальный обед. У нагретой солнцем стены мужики рассуждали о ссорах в комитете. Они имели важный, сосредоточенно-хозяйственный вид. Все эти дни делили землю. И сейчас надо было идти, отмеривать, вычислять осьминники, нивы, десятины. На их лицах было выражение значительности и той приятности, которую довольно трудно скрыть.

Сереза побродил между могилками, убедился, что больше не подадут, и поплелся в чайную.

III

Вряд ли он понимал, что с Андреем Михайловичем ему не встретиться. Вряд ли знал, что вечность легла между ним и высоким человеком с черными усами, как разделит она радующихся и огорченных, берущих и лишаемых. Он шел осинником и ни о чем не думал. У поворота к селу, на опушке, блеснул под солнцем срез свежего пня, залитого соком. В этом блистании была весна, как и в сухих, слегка пылящих ноги и шуршащих прошлогодних листьях.

В чайной Серезу покормили. Тут еще больше было мужиков, занятых своими важными делами. Говорили о том, что нет семян на яровой посев. Что одни зимой чрезмерно расторговались, другие овес поели за недостатком хлеба. Какая-то баба кричала, что ей не дают земли на малолетнего, и что она будет делать со своими тремя осьминниками? Как всегда, была критики и недовольные. И хотя казалось бы, что довольных больше, недовольные шумели громче.

С мужиком, ехавшим в город, пристроился на облучке телеги и Сереза. Он не мог бы сказать, почему именно едет.

-- В город тебе, что ли? -- спросил мужик. -- Чудной, ты в какие Палестины?

Сережа улыбнулся и ответил:

-- Подвези, пожалуйста... Масса дел, масса дел... Всего-то не упомнишь.

Он наморщил лоб, сделал серьезное лицо, как будто в уездной метрополии правда ждали его необычайно важные занятия.

Они одиноко ехали с мужиком по весенним полям, еще никем не оглашенным, кроме жаворонков, высоко и трепетно стоявших в воздухе. У села Овечья, в ложбинке, где ярко краснели ободранные пеньки ольх, чуть было не угодили в трясину. У Павлушина встретили мужиков, шедших по парам группой, с тем сосредоточенно-довольным видом, как и тогда у церкви: эти делили землю. А за Павлушиным попались, как из сказки, старик со старухой, с палками и с мешками за спиной: та же Русь: только с голоду вышедшая побираться.

-- Сла-а-бода! -- сказал мужик, поравнявшись с ними, и плюнул.

Скоро выехали на большак, обсаженный дуплистыми и корявыми ракетами. Вдалеке завиднелась уже, полускрытая возвышенностью, соборная колокольня, и налево засинела, темнея вдали лесами, долина Оки. Но в Кудашеве, большом селе с барским парком, ампирым домом, прудом и железным мостиком на клочке шоссе, Сережа завозился и стал озираться. Когда доехали до деревянной церкви со старыми колоннами тоже стилия ампир, среди вековых берез, Сережа вдруг спрыгнул.

-- Эй ты, заяц, куда поскакал? -- крикнул возница.

-- Я тут, я сейчас, по делам, на минутку, -- заговорил Сережа. -- Мне бы тут к учительнице зайти, все собираюсь, собираюсь отдать визит, неудобно, уж сколько времени не навещал...

-- Ну, тебя тут ждать не буду, -- сказал мужик, и стеганул лошадь. -- Ви-зи-ты у него!

Но Сережа не обратил внимания. Мимо огромной, кирпичной, вновь строящейся церкви он прошел к нарядному каменному дому с большими окнами, типа станций, под зеленой крышей -- гордости старого земства -- новой школе.

Учительница Вера Степановна, маленькая, аккуратная девушка в белом воротничке, уже пообедала, когда явился Сережа. Он бывал здесь, и она не удивилась его приходу.

-- Як вам с визитом, с визитом, -- быстро заговорил Сережа. -- Надо же отдать визит, а то неудобно. И еще дельце есть малое.

Вера Степановна была очень чистоплотна. Она затворила дверь к себе в комнату и повела его в класс, просторный и светлый. Она боялась его насекомых.

-- Какое же у вас дело? -- спросила она, сев за столик и взглянув на него ясными, серыми глазами. В них сквозила ее душа -- честная и уверенная в пользе книжек, просвещения и четырех действий арифметики.

-- Надо меня проверить, -- сказал Сережа, совсем серьезно. -- Обучение юношества, вы знаете, как я к этому отношусь. Разумеется, в прежней жизни я достаточно хорошо владел пером... Но для учительской деятельности, в наше время...

Вера Степановна не поняла.

-- О какой деятельности вы говорите? Сережа улыбнулся.

-- Ах, я не рассказал! Какая забывчивость! Меня собираются назначить учительницей, в Малоземово, вы понимаете. А я так мало упражняюсь в письме, что, быть может, забыл... Будьте любезны, вы как сотоварищ по просвещению народа...

Он схватил лист бумаги, обмакнул перо и быстро стал выводить буквы.

Вера Степановна вздохнула. Она даже не улыбнулась. Она была девушка серьезная, и раз Сережа безумный, то удивляться не следует. Это было бы неинтеллигентно. А как раз ей нужно выступать на учительском собрании, в городе, и там отстаивать интеллигентность.

-- Совершенно правильно, -- сказала она, взглянув на написанное. -- Перед *который* мы ставим запятую.

-- Верно, верно, виноват! Разумеется, запятую.

Потом он подошел к доске, взял мел и стал решать какие-то задачи. Но здесь арифметика Веры Степановны должна была уж уступить: Сережа складывал, делил и вычитал по правилам другой, лишь ему ведомой науки. Вера Степановна не возражала. Приглядевшись, заметив, что сегодня он гораздо чище обычного, она позвала даже его пить чай, к себе в комнату.

Откусывая кусочек сахару и дуя на блюдечко -- глазки его бегали, как у зверька, -- Сережа говорил:

-- Значит, вы находите, что я не позабыл? Это очень приятно. А то, представьте себе, назначают новую учительницу, она является и не знает, где букву ять ставить! *Шкандал!*

Он посидел еще немного и сказал, что ему пора. Узнав, что завтра Вера Степановна будет в городе, он очень обрадовался.

-- Я тоже приеду на собрание. Как же, как же, необходимо... сплочение просвещенных людей!

И еще раз прибавил, что если назначают учительницу, а она не умеет писать, то это просто *шкандал!*

Солнце садилось, горело в кресте церкви. Грачи орали на березах, -- там настроили они гнезд. Сережа, с длинной палкою, от собак, вышел на большую дорогу. Опять росли по ней дуплистые, низкие ракиты. В канаве блестела вода, розовея на закате. Справа, слева те же зеленя, по которым бродят спутанные лошади.

Неясная, но неизменно действующая сила вела его вперед, по этому большаку, в город, как завтра, может быть, поведет в другой конец уезда. Он не помнил уж ни об утре у Василисы Петровны, ни о похоронах, ни о будущем своем учительстве. Ему навстречу надвигался зеленоватый апрельский вечер. Он сменялся ночью. И уже весенние звезды зажигались. Орион рано скрылся за горизонтом. Подымалась Дева, со своею Спикой. За ней всходил четырехугольник Ворона. В это время в уезде одни, как Василиса Петровна, горевали о своих недостатках, отходящих к другим, другие мечтали о получаемом, третьи, как учительница, готовились к общественным треволнениям, и все, обычно в этот час в деревне, собирались спать. Они жили и действовали, считая свои действия важными и жизнь -- вечной. Андрей Михайлович спал очень крепко. Его знакомый, помещик с большими руками, думал посадить в изголовье его дубок вместо памятника.

А Сережа шел. Он ничего не знал. Над ним было ночное небо.

Притыкино, 1917 г.

Комментарии

Рассказы этого цикла впервые опубликованы: "Домашний лар" -- в альм. "Стремнины". М., 1916. Кн. 1; "Республиканец Кимка" -- в сб.: Зайцев Б. Путники. Рассказы 1916--1918 гг. Кн. 7. М.: Т-во "Книгоиздательство писателей в Москве", 1919; "Сережа" -- в журнале литературы и искусства "Москва". М.: Творчество, 1919. No 2. Печ. по сб.: Зайцев Б. Река времен. Нью-Йорк: Русская книга, 1968.

Источник текста: Борис Зайцев. Собрание сочинений. Том 7. Святая Русь. -- М: Русская книга, 2000. 525 с.